

АНТОН ПАВЛОВИЧ

ЧЕХОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«НИКЕЯ»

Классика русской духовной прозы

АНТОН ЧЕХОВ

Повести и рассказы

«Никея»

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

Чехов А. П.

Повести и рассказы / А. П. Чехов — «Никея», — (Классика русской духовной прозы)

В этом сборнике представлены лучшие произведения А. П. Чехова на духовную тематику: о поиске веры, о предназначении человека, о жизни и смерти души, о выборе между материальными и духовными ценностями. Несмотря на то, что исследователи творчества писателя до сих пор не могут прийти к единому мнению и решить, был ли Чехов верующим человеком, он сам отвечает на этот вопрос своими произведениями, которые полны сострадательной любви к слабым и грешным человеческим душам. Устами одного из своих персонажей Чехов так определяет смысл творчества: «Науки и искусства, когда они настоящие... ищут правды, смысла жизни, ищут Бога, душу».

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

© Чехов А. П.
© Никея

Содержание

Предисловие	5
Святая простота	8
Горе	11
Тоска	14
Кошмар	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Антон Павлович Чехов

Повести и рассказы

Предисловие

Вопрос о вере Антона Павловича Чехова у многих вызовет скептическую улыбку. Можно ли заподозрить православное мировоззрение у человека, называвшего себя материалистом? Однако для тех, кто знаком с творчеством писателя, вопрос этот становится не столь однозначным.

...В небольшой тесной церквушке полумрак, блестят под иконами лампадки, чуть слышно потрескивают свечи, сладко пахнет ладаном. Вперед выходят три мальчика, три брата, в праздничных рубахах, гладко причесанные. Они немного смущаются и поглядывают друг на друга, с особым усердием исполняя «Да исправится» и «Архангельский глас»... Один из мальчиков – будущий великий писатель Антон Чехов.

Прекрасное знание Священного Писания, церковных обрядов, интерес к православным праздникам и богослужениям, отразившийся во многих произведениях («Студент», «На святках», «Святой ночью», «На Страстной неделе», «Архиерей» и др.), Чехов вынес из детства. В доме его родителей было много религиозных книг, по которым дети обучались грамоте. И, судя по подборке книг в личной библиотеке уже взрослого Чехова, интерес к духовной литературе он сохранил на всю жизнь. С верой же дело обстояло несколько иначе.

«Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением Апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет». Это строчки из письма Чехова к писателю Щеглову.

Но в записных книжках Чехова встречаются и такие замечания: «До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока не отыщет своего Бога. Жить во имя детей или человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для чего, надо погибнуть. Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек».

Обсуждая вопрос о вере Чехова, исследователи его творчества и по сей день не могут прийти к единому мнению. В 1904 году известный философ, богослов и священник Сергей Николаевич Булгаков в своей лекции отмечал, что в творчестве писателя ярко отразились «искание веры, тоска по высшем смысле жизни». Русский писатель Борис Константинович Зайцев в книге «Чехов. Литературная биография» заметил, что Чехов – «добрый самарянин», следующий заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Тем не менее, многие исследователи называли писателя атеистом, рационалистом и человеком науки, отвергающим всякую мистику.

Иван Алексеевич Бунин вспоминал: «Что думал он о смерти? Много раз старательно-твердо говорил мне, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор». Однако в одном из писем Чехова к тому же Бунину есть и совсем другие строки: «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – это факт. Вот погодите, я докажу вам это».

Истоки этих противоречий, возможно, следует искать в детстве Чехова. Специалист по его творчеству Михаил Петрович Громов пишет об отце писателя: «Отец Чехова был религиозным человеком, но в его вере не было терпимости и добродушия. Была жесткая убежденность, внушенная не столько верой в предвечную справедливость и добро, сколько страхом перед казнями ада». Чехов, по убеждению Громова, «не унаследовал той домостроевской

нетерпимой религиозности, которая царила в доме его отца, в этом смысле религии у него... действительно не было».

Но, пусть даже отказавшись от веры в том виде, в котором она была принята в доме отца, Чехов все-таки ищет ее. Вот сюжет его любимого рассказа «Студент»: юноша встречается у костра двух женщин, отогревается и размышляет вслух о Страстной пятнице, рассказывает об аресте Христа и отречении Петра; попросившись, уходит. Вновь перед ним только потемки да холодный ветер вокруг, и «не похоже, что послезавтра Пасха». И тут же, как озарение, появляется осознание целостности и непрерывности всего в мире, чувство причастности ко всему, внезапно нахлынувшее ощущение радости, необъяснимой и невыразимой: «...очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему... И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух». Что же за радость охватила героя? Что за чувство воплощения истории в настоящем? Всю Страстную неделю перед Пасхой богослужения в храмах воссоздают Евангельские события, чтобы пережить их в настоящем, сострадать Христу и в Пасху сорадоваться Его Воскресению. Студент, пересказав эти события двум женщинам, тоже достигает состояния сопереживания прошлого в настоящем – того религиозного чувства, которое должно возникать у прихожан во время службы в храме.

Творчество Чехова не позволяет нам воспринимать его как атеиста. По словам Сергея Николаевича Булгакова, Чехов своеобразен в своем творчестве тем, что искание правды, Бога, души, смысла жизни он совершал, исследуя не возвышенные проявления человеческого духа, а нравственные слабости, падения, бессилие личности... сострадательная любовь к слабым и грешным, но живым душам – основной пафос чеховской прозы.

В его произведениях мы не увидим праведников, но найдем героев, которые пытаются исправиться. В православном по духу рассказе «На Страстной неделе» мальчик описывает свое говение и причастие в храме. После исповеди у священника и приобщения к Святым Тайнам герой внутренне преображается: «Как теперь легко, как радостно на душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай!» И в этом новом состоянии он готов даже совершить свой маленький христианский подвиг – простить врага (соседского мальчишку, обижавшего и задиравшего его прежде) и примириться с ним.

Очищение души – исцеление – противопоставляется в чеховских рассказах духовной деградации. Как земский врач, Чехов лечил людей (причем, бедных – всегда бесплатно), выпи-сывая одинаковое лекарство от одних и тех же недугов. Как писатель, Чехов показывает, что все люди, независимо от статуса и положения в обществе, подвержены одним и тем же духовным болезням: лень, ханжество, равнодушие, трусость, гнев, зависть. Другое их название – смертные грехи. Чехов-врач, знающий, что устранять следует не болезнь, а ее причины, рассказывает пациентам, чего им не следует делать, чтобы оставаться здоровыми. Чехов-писатель наглядно демонстрирует читателям, как грех воздействует на душу, инфицируя и убивая ее. В рассказе «Ионыч» мы видим, как доктор Старцев, получив отказ от Катерины, спустя некоторое время становится грузным, ленивым, самодовольным и равнодушным; на призыв к любви повзрослевшей Кати душа его уже не отзывается: она мертва. Откуда же началось духовное умирание Ионыча, из чего оно «выросло»? Из маленькой корыстной мысли о приданом, которое он мог бы получить после женитьбы. С годами же один этот грех разросся в нем настолько, что погубил и саму любовь к Кате, и душу Ионыча. В рассказе «Крыжовник» Николай Иваныч, стремящийся вырваться из чиновничьего мирка и стать свободным человеком, выбирает символом этой свободы вещь не духовную, а материальную, и становится рабом и заложником... кустов крыжовника, который и на вкус-то оказывается кислым, чего никак не хочет признавать герой рассказа. Итог печален: в погоне за свободной жизнью он добровольно отказывается от настоящей свободы, заточив себя в «гроб» материальных благ. Эта идея во многом продолжает тему гоголевской «Шинели» и иллюстрирует слова Христа: «где сокровище ваше, там будет и

сердце ваше» (Мф. 6: 21), «...не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6: 25.)

Герой рассказа «Человек в футляре» – пожалуй, наиболее яркий образ человека, умершего духовно задолго до физической смерти. Он так боится жизни, любых ее проявлений, так отгораживается от всего непредсказуемого, потенциально опасного, яркого, непривычного – одним словом, живого, – что в конце концов и оказывается там, где ничто живое ему не угрожает: в гробу. Окружающие даже не могут называть героя рассказа «человеком», давая ему греческое определение «антропос» – как некому виду на музейной полке, уже лишенному жизни и души.

Естественно, что, как у любого мыслящего человека, у Чехова на протяжении жизни были сомнения. Но прежде чем приводить их как доказательства отсутствия веры у писателя, нужно задуматься о его характере. Плоды своих духовных исканий Чехов никогда не выносил на всеобщее обозрение, стараясь скрывать их от постороннего взгляда и отшучиваться. Он считал, что поиск Бога должен быть сокровенным, а не публичным: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

И вот еще один небольшой нюанс. Врач, лечивший писателя в Ялте, упоминал, что тот «носил крестик на шее». Носил, стало быть, не напоказ, для себя, поскольку обнаружилась эта деталь только при врачебном осмотре. Известно, что Чехов органически не выносил неискренности и фальши. А следовательно, для такого человека, будь он действительно атеистом, ношение креста было бы невозможным...

Татьяна Клапчук

Святая простота

Котцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., неожиданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет двенадцать – пятнадцать, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

– А у тебя здесь хорошо, мило! – восторгался он, ерзая на стуле. – Уютно, тепло, и пахнет чем-то таким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

– Такие-то, брат, факты... – говорил он. – Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я – оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

– Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

– Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университет, головой работаешь. Долго гостить будешь?

– Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер *deus ex machina*¹. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

– Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юрипрудент?

– Да, я присяжный поверенный.

– Так... Помогай Бог. Чин у тебя какой?

– Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, – подумал отец Савва, – но по-ихнем у это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

– Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом год у приехал, – сказал сын. – В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

– Именно смешные... хоть плюнь! – согласился отец Савва. – Что поделаешь! Далек от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

– Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак... «Вот врет-то!» – подумал он.

– Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? – спросил он робко.

– Как где взял? Из своего кармана, конечно...

¹ «Бог из машины» (лат.) – механическая благополучная развязка драматического конфликта.

– Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

– Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется...

Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. – Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил – тридцать тысяч!»

– Невероятно, Сашенька! – сказал он. – Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

– Не веришь?

– Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться... ты уж больно тово... Хо-хо-хо...

Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

– Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

– Это так... А ты бы копил!

– Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить... (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки – фюйть! Овое в карты проиграл, овое пропил.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! – взвизгнул старик. – Занятно врет!

– Не вру я, батя.

– Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

– Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

– Не планида, а планета, – поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. – Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

– За талант...

– Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

– Очень много. Вся Москва меня знает.

– Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорока-тысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

– Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

– Но, однако, я заболтался, – кончил адвокат, вставая из-за стола. – Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

– Каков, а? Видала? – зашептал он кухарке. – То то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальней и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

– Я на минуточку... поглядеть, удобно ли, – забормотал старик, вход я к сыну. – Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

– Так-с... – начал он после некоторого молчания. – Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

– Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

– Восемь? Вот врет-то! – всплеснул руками отец Савва. – Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

– Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

– Спать пора... раздевайся и туши свечку... – сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. – Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

– Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

– Такая, брат, история... М-да... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

– Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей двадцать пошли. Они сироты.

– Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

– Врешь?

– Seriously... Все равно растрянжирю.

– Гм... Ведь я их копил! – обиделся Савва. – Каждую копейку для тебя складывал...

– Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны... Полторы тысячи – фи!

– Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости беспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

Горе

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою большую старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

– Ты, Матрена, не плачь... – бормочет он. – Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем, и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай Бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? – закричит. – Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос: – «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед Богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели Господь... Матерь Божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» – «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня Бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед Богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница...» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы Бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться,

прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

– Ты же, Матрена, тово... – бормочет он. – Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, Твоя воля! Привел бы только Бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

– Ну и дура! – бормочет токарь. – Я тебе по совести, как перед Богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

– Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

– А ведь она по миру ходила! – вспоминает он. – Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то небось думает, что я и взаправду такой. Мать Пресвятая, да куда же, к лешему, я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова...» – думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы – хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

– Куда ж я еду? – спохватывается вдруг токарь. – Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцей. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... – думает токарь. – Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Все равно... – думает он, – сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

– Панихидку бы, братцы, по старухе! – говорит он. – Батюшке бы сказать...

– Ну, ладно, ладно! Лежи уж! – обрывает его чей-то голос.

– Батюшка! Павел Иваныч! – удивляется токарь, видя перед собой доктора. – Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

– Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

– Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава Богу! Небось шесть десятков прожил – будет с тебя!

– Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

– Зачем?

– Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!

1885

Тоска

Кому повем печаль мою?..²

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он со гнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Пррава держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Пovýлазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

² Начало духовного стиха «Плач Иосифа и быль»: Кому повем печаль мою, Кого призову к рыданию? Токмо Тебе, Владыко мой, Известна и печаль моя. (Бессонов П. Калики переходные. Ч. I. М., 1861. С. 187.)

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня Бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!

– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлепать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

– Все помрем... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

– А ты его легонечко подбодри... в шею!

– Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай Бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.

– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Вместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не

замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай! Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему неважно.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице...

История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но режут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй...

Коли на овес не выехали, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

Кошмар

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым. Часов через пять отец Яков явился.

– Очень рад познакомиться! – встретил его в передней Кунин. – Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! – удивился Кунин. – Сколько вам лет?

– Двадцать восемь-с... – проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» – подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»³: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска, цвета жидкого цикорного кофе, с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... – подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. – Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

– Садитесь, батюшка, – начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. – Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустил на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

– Я, батюшка, пригласил вас по делу... – начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. – На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от председателя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

– Конечно, и Егору Дмитриевичу, и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имя мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремленного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

– Когда будут деньги... – ответил отец Яков.

– Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

³ Скоктание – «щекотание», чувственные ласки и вызываемая ими похоть.

– Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

– М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... – вздохнул Кунин. – В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... – думал Кунин. – Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сахарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

– Не написать ли нам преосвященному? – продолжал соображать вслух Кунин. – Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сахарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! – подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. – Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! – думал он. – Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница...»

Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: „Благослови, владыко!“ Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.